

И то надо сказать: родного отца он не помнил.

В какой-то пасмурный летний день принесли повестку, кто-то (кого он потом вспомнил как отца) брал Женю на руки, мать плакала, и мальчик запомнил, как неловко и стыдно было ему оттого, что вокруг него плачут, а он не может, он не понимает, зачем плачут, зачем эти сборы и проводы и зачем прощаются.

«Повестку прислали, а он был на работе, – часто рассказывала мать. – Думаю: «Придёт, поужинает, тогда скажу». Он промаялся за день, кашу с молоком с такой охотой намолачивает, а я что-то не вытерпела, заплакала и говорю: «Чё тебе снилось?». Он и ложку отложил сразу. Понял. Ушёл в военкомат, нет и нет. Корова наша паслась на площади, где ты теперь футбол пинаешь. Мы с тобой пошли за ней, он от шоссейки к нам показался. Как сейчас вижу, – задышалась мать и вытирала слёзы. – «Сыночек, сыночек, иди скорей! – закричал тебе, подхватил на руки. – Ну, сыночек, наверное, последний раз с тобой. Война».

«Ивану повестку принесли», – понеслось по улице, и соседи повалили в их дом с таким чувством, словно Ивану назначено было оставить своё жильё навсегда. С немymi лицами стояли они у порога, жалели покорно собиравшую

мужа хозяйку и шептали: «Господи, да откуда она и взялась, эта война?».

– Хоть оглянись, – сказала мать отцу, когда уходили на станцию. Она потонула в его пиджаке, который он оставлял на память или на крайний случай, если иссякнут запасы. – Оглянись, а то, может, и не...

Женю отец нёс на руках. Если бы от чело- века оставалась на дороге хотя бы тень! Про- шёл – и как ветром сдуло, хочешь и не можешь представить его живого. Он нёс сына под горку, где мальчик потом бегал без него с бичом за ко- ровой, где он спускался на болото к тёте Паше, постоянно напоминавшей ему нечаянно, каким был Иван, его отец.

Отправили отца в военный лагерь.

«Как бы ты, Физа, приехала, – писал он, – привезла бы курева, бумаги».

Мать и поехала. Не так-то просто было по- пасть на поезд. До Юрги – километров триста. Физа Антоновна ухитрилась договориться с про- водниками, пустившими её в вагон без билета. Как ребёнок, залезла она под скамейку и в духо- те, в пыли, чувствуя запах ног, положив свою го- лову на свёрток с папиросами и сухарями, терпе- ла около девяти часов ради свидания с мужем. «Быть может, последнего свидания», – думала она, замирая.

Вместо того чтобы плакать и утешать друг друга, отец угрюмо и толково наставлял жену, как ей жить без него.

Он далеко-далеко провожал её, гладил рукой её кудрявые русые волосы и не раз за дорожку сказал:

– Держи корову – неголодные будете. Женю корми как ни можно лучше, чтобы смалу был крепким, он растёт, ему надо. Не балуй его, но жалей.

– Держи корову! – крикнул он и напоследок.

Несчастен Женя, что он не видел этого. Он бы ещё и не так дорожил горьким чувством тех дней. «Не мог же я быть чуть постарше», – сокрушался он в юности, когда убедился всем существом своим, что он только росток, только веточка, а корни давно сгнили где-то в глубокой земле у Зелёного Гая.

«Когда поехала последний раз, – рассказывала мать уже взрослому сыну, – и уезжала, так он наказывал, чтоб я всё приготовила: курица, бумаги и сухарей в дорогу. Как только, мол, сообщи, то ты на воинскую площадку выезжай с Женей, я на него посмотрю хоть немного. Я насобираю, стояло наготове, уже всё предсказывало, что скоро должен проехать. И как-то незадолго приснилось: куда-то мы ехали с тётей Пашей, и на какой-то станции понадобилось мне купить луку. Поезд затормозил, а тогда же раньше торговали за столиками, порядком бежать от линии. Я поскорей. Только прибегаю, лук крупный. Спросила: «Почем такой лук?» И поезд мой: «Туту-у». Я назад. Подбегаю – он только хвостиком мелькнул. Я кричать: «Обождите, обождите, не оставляйте меня одну!» Ну что ж, ушёл мой поезд. Я тогда схватилась за голову, давай голосить: «Ох, ничто мне так не жалко, как чемодан! Там единственный мой дорогой костюм, я его вовек не наживу! Он на верхней полке, а Паша не знает». Когда я первый раз сон рассказала, Демьяновна и говорит: «Ты смотри, это твой Иван Фёдорович проедет. Знаешь, в какой он части?». Знала. В тридцать пятый».

«В этот же день поехали мы с Женей на картошку, – вспоминала Физа Антоновна вечером после салюта Победы. – Картошку сажали в Буграх, далеко. Взяли тележку, мешки, посадила Женю, скорей-скорей выкопать три сотки – и на станцию, узнать, не проходил какой состав. Притащились мы с тележкой, а картошки нашей уже нет: выкопали чужие люди. Заплакала я, насобираю с кастрюльку да домой. Демьяновна

встречает: «Физа, я слышала, составы шли, не проворонь своего». Я Женю закрыла, побежала в чём была, тапочки с меня слетают».

Когда это было, в какой день, по какой погоде? Что происходило с Женей, вокруг, кто разбудит то время? Не помнит, не знает Женя. Как будто не существовало его на свете.

«На станции стоял пригородный, «передача» по-нашему, и в эту минуту с разгону за её вагонами военный состав пролетел. «Передача» тронулась, а у воинского только хвостик мелькнул, солдаты машут. Вот тебе и сон, уехал мой костюм, мне теперь его вовек не нажить. В этом составе мой Иван Фёдорович проехал»... – здесь Физа Антоновна замолкала, и так случилось всегда. Слезы, как из-под тонкого снега, наплывали на её глаза, сбегали по молодому ещё лицу с большой шишечкой над правой бровью.

А вечером приходит к Демьяновне женщина, родня её, и говорит: «У вас тут живёт Физа Бывальцева? Я её мужа встретила в городе на вокзале». Она брата своего караулила. Подогнали какой-то состав, и вот видит: мужчина выскочил и ну забегал, ну забегал. И туда, и сюда, подбегает и спрашивает у неё: «Вы не с Кривощёкова, вы не с Кривощёкова? Не по трамвайной линии идти будете?». Напал на эту женщину: «Зайдите на Широкую, там моя жена всё припасла, она, наверное, не знает, что нас везут: телеграмму нельзя было дать, сказали, что состав не остановится. А главное, на сына не погляжу». Она, несмотря на то что брата ждала, насыпала отцу табаку, газет дала, сухариков немножко.

«Если б я знала, Физонька, – говорила вечером, – что брата тоже не встречу, я б всё отдала. Три ночи сидела, брата не встретила, а твоего мужика встретила. Если б я знала, что это твой мужик, милая!» Она залезла к нему в вагон, в Кривощёкове состав прошёл, она проехала до Толмачёва. Когда проезжали Кривощёково, он так метался по вагону, крышу свою в окошко высматривал, жалко было сына не повидать, и сердце, потом писал, так забило, что не смог заплакать! И сон мой сбылся. Такого костюма, кричала, я вовек не наживу!»

Отцовский неладного покроя костюм дотаскал Женя в девятом классе, надевая его и в школу, и на выступления в концертах, и на свидания.

«Остались мы с тобой вдвоём, – печально вздыхала мать, в какой раз обращаясь при плохом настроении к войне. – Жили, горевали

и молились Богу, чтоб наш папка вернулся целый и здоровый. Я тебя учила Богу молиться, ляжешь в постель и говоришь: «Ох, мам, я Богу не молился», сразу соскочишь и молишься вслух и на конец молитвы говоришь: «Пожалей меня. Господи, отпусти моего папку домой», – поклонись до земли.

Ходили всякие ворожейки, цыганки, румынки, сербиянки, но я им не верила, а тётя Паша твоя, та все рубахи и кальсоны проворожила, и все карты говорили ей, что придёт. Потом смеялись: ни одних кальсон не осталось. Убедилась, не стала верить. А я сны загадывала. Меня одна тётенька научила: под Новый год поклониться триста раз и ложиться в постель. Я набралась такого мужества, в двенадцать часов ночи ударила триста поклонов и легла. Когда ложилась, загадала сон: если Иван Фёдорович придёт жив-здоров, то приснись: найду, куплю или что прибудет, а если не придёт – потеряю что-нибудь, обворуют. И мне приснилось: война кончилась, я пошла на станцию встречать военных, помню, что шла в новых ботиночках, а на станции глянула – ноги босиком. Так я плакала да приговаривала, так уж неохота было оставаться молодой в одиночестве. Разве мне легко было? И не пожили толком вдвоём, как эта война».

Женя лежал у той же печки, на той же кровати, и вечер был, кажется, такой же, что и десять – пятнадцать лет назад, и мать ему казалась молодой, потому что была она для него всегда как бы в одном возрасте, с тем же лицом и голосом, как в войну и после войны, когда она, вернувшись из женского общежития с пустыми кастрюльками из-под варенца, топила печку и разговаривала о жизни.

«Когда отец жив был, часто писал письма, спрашивал за тебя: «Как там сынок? Наверное, уже скоро в школу». Бой пройдёт – пишет письмо: «Все спят, а я пишу». Контузило в сталинградских степях, засыпало землёй и вдобавок попал под машину. Догонял своих, идёт – и каждый день пишет, думал, если убьют, хоть письмо попадёт. Не убило. Наверное, говорил, сын у меня счастливый или жена Богу молится. А тут вдруг писем не стало, два месяца не было ни звука. Стали мне сны мелкие сниться: то корову увижу, а корова когда приснится, то обязательно мне так не пройдёт – поплачу, поплачу. То печёный хлеб. А тут перед несчастьем приснилось, будто иду на болото, где Паша жила, и вдруг повалился столб телеграфный. Я подбегаю, стала

его выдёргивать. Выдернула, положила на землю, и с той ямки образовался колодезь, и в том колодезе закипела вода ключом и полилась к нам во двор, в подпол, а с подпола на улицу. И тут пришло письмо: «Иван Фёдорович не вернулся из боя». Вот я и выдернула столб – разве не закипело сердце, разве не полились слёзы?

Однажды под Крещение собрались бабы ко мне: «Давайте сегодня заморозим на блюдец». Давайте. Нашли чистый листок бумаги, расписали буквы по кругу и на блюдец крестик, назвали блюдец, как звать, только на имя какого-нибудь покойного. Собралось нас много баб, человек шесть, я помню Мотю, Фрузу, вот что у трамвайной остановки жила, матерщинница была, её блюдец не залюбило, не стало ей ворожить. «Иди, – говорит, – к чертям ты, нехорошая женщина». Потом ворожила тётя Нюра Мещерякова, тётя Мотя Чёрненькая. Поставили блюдец на лист, положили на блюдец два пальца, по двое ворожили. Когда блюдец разогреется, тогда пойдёт по бумаге, подбирает буквы. Тёте Нюре сказало: «Муж не придёт», тёте Моте – то же, а мне сказало: «Жди письма печального»...

«Это ты, Женя, за печкой лежал, – напоминала мать в институтские годы, – письмо лейтенант прислал, служил с твоим отцом и полюбил его. Вот он и написал моей племяннице, что дядя Ваня не вернулся с боя. Племянница взяла письмо и пошла к тёте Паше, с тётей Пашей они пришли в двенадцать ночи ко мне. Постучали, я сидела, рукавички вязала, а ты спал за печкой. Открыла дверь, смотрю – стоят. Тётя Паша, как только переступила порог, сразу села на кровать и заплакала. Племянница тоже стоит плачет. Тётя Паша тогда говорит: «Ох, Антоновна, какую мы тебе весть принесли нехорошую». Я два раза спросила: «А что случилось?» Племянница молчала, а потом: «Дядя Ваня с боя не вернулся». Я не выдержала, упала на стол, я так и знала, что это будет, поэтому и писем не стало. Плакала да приговаривала: «Ох, милой ты мой Ванечка, да ты ж писал в письмах и говорил, что война кончится и я вас с сыночком увезу на запад, да и сам там голову положил, да какая для нас с сыночком утрата, никогда я не думала и не чаяла, что мы с тобой, Ваня, разлучимся, да неужели это правда, да нигде мы с тобой и не увидимся, и не повстречаемся, никогда нам с сыночком так ясно солнце не посветит, никогда нас так уж солнушко не обогреет, ниоткуда мы про тебя, Ваня, ничего

не услышишь, никакой весточки ты нам уже не пришлѐ-о-ошь...

Тут мне не давали больше плакать. Ночью, старые люди говорили, за покойником плакать нельзя, грех. Потом долго ничего не было, никаких писем. Пошла я в военкомат, там заполнили анкету по адресу, где он последний раз шѐл в бой, и через девять месяцев мне принесли извещение явиться в военкомат. Помню, в субботу, под Троицу, убрала я в комнате, везде травой потрусилась и пошла. Разрешили мне войти, я села, меня стали спрашивать: «Где проживаете? Какая семья? Есть ли близко родственники?». Потом выписал майор похоронную и зачитал, где отец погиб: «Запорожская область, Васильевский район, село Зелѐный Гай. Погиб за Родину». Я оттуда не знаю как и вышла, подломились у меня ноги, затрясло меня как лихорадкой, а заплакать я не могла. Дорогой шла и не удержалась, слѐзы одолели, стала доходить до своей улицы, а ты меня встретил возле Банниковых, увидел, что я заплакана, и говоришь: «Мама, а почему ты заплакана?» Я схватила тебя на руки и в голос закричала: «Миленький ты мой сыночек, теперь уж у нас папки никогда не будет, и не будешь ты знать отцовской ласки, и никому ты не нужен будешь». Упала дома на кровать, как сейчас помню, обняла его подушку, на которой он всегда спал, ох плакала, ох как было тошнѐхонько, никого в комнате не было, только ты меня за юбку дѐргал: «Мама, не плачь, мама, не плачь...». Потом, не помню, кто-то услышал, пришли, давай меня успокаивать: «Да что у тебя куча детей, что ли...». Не в детях дело, а жалко человека».

«Плачь не плачь, – рассказывала она уже без Жени квартиранткам, – а к зиме надо топливо запастись, иначе зима сибирская спросит, чего летом делала. Пошла в завком, чтоб выписали дров, а там говорят: «Надо идти поработать на лесоперевалку три дня, потом вам выпишут». Вот я и ходила, трое суток работала за дрова. Встану рано, печку вытоплю, Жене сварю и закрою его одного на целый день. Так и добывала. Дали лошадь, возчика, перевезли. Уголь – где мешок купишь, где вѐдрами брали. Выписала горбыля, стала строить сараюшку, горбыль толстый, я рублю, рублю, топор тупой, руки устают, найду в избу, сяду на кровать, плачу-плачу, а Женя маленький был, подойдет ко мне, дѐргает: «Мам, не плачь, я подрасту, помогу тебе...».

Того горя Женя не помнил. Ещё не было в его детском сердце места для горя, ещё туманом

расстилалась перед ним жизнь. Он плакал, потому что плакал кто-то возле.

Письма от отца не сохранились. Мать склеила для них большой жѐлтый конверт и берегла Женю на будущее. Однажды она белила и вместе с вещами вынесла письма в кладовку. За две ночи мыши источили их на кусочки. Она не могла простить себе оплошности и в те годы, когда Женя спрашивал её, чувствовала себя перед ним виноватой. Письма пропали, пропали с ними слова, строчки, выведенные живой рукой. Как жалел Женя об этом потом!

Несчастье подружило мать с соседками-вдовами. В День Победы они сошлись вместе, как сестры по одинаковой доле. Весна, тѐплый солнечный ветерок, звуки радио на базарной площади, трамваи с транспарантами «Наше дело правое – мы победили!», бойкая торговля водкою в магазинах, а во дворах, куда никто никогда не вернѐтся, поминальная боль. Отец не вернѐтся. Всю войну не растворяли они с улицы ставни. И наконец грохнул, упал на завалинку болт, комнату озарило солнышко. Мать вошла, громко крикнула с порога в каком-то радостном отчаянии:

– Женя, вставай! Вставай, сынок, война кончилась! По радио передали.

По всей земле, кажется, стояла тогда тѐплая, ясная погода. В палисаднике зацвела акация, и завалинка была совсем сухая. Одна только осина ещё чего-то ждала, одиноко выделяясь оскудевшей верхушкой. Осина гибла год от году. Женя её окапывал, поливал, подрезал – ничего не помогало.

Да, текла великая радость по родной земле, а кому не досталось её в полной мере, те, припадая на коленки, сжимая детей своих или обращая взор свой на запад, надеялись, что за все страдания, мужество успокоит их заботой, сердечным вниманием твѐрдая, верная рука и даст последнее счастье.

Две большие кастрюли варенца и бутылка молока отдали они с матерью на базаре за бесценок.

– Может, и моего Ваню там угощают, – всё ещё верила она в чудо.

На вырученные деньги они купили хлеба, гидрожира, мяса и водки. Десять рублей Женя получил на конфеты. По дворам пошли калеки и брошенные в Сибирь войной одиночки.

С запада шли составы. Теперь Женя бежал на станцию со сверстниками. Всякий раз

мать провожала его словами: «Ступай, сынок, а вдруг да и встретишь папку». В раскрытых «телячьих» вагонах стояли солдаты, кричали, пели, махали руками и веточками и, когда поезд замедлял ход, бросали ребятишкам на ветер немецкие бумажки и монеты. «Если бы мой папка остался в живых, – думал Женя, протягивая руки к летевшим, как листья, бумажкам, – у, сколько бы он привёз!»

То в праздники, то по случаю дня рождения или покупки костюмчика слышал Женя от матери: «Кабы был отец... Кабы встал да взглянул...». С этими мыслями проводила она его в первый раз в школу, с новым портфельчиком и тетрадками.

О сыне же думала она, когда зачастили свататься мужики. Один приходит, другой, третий.

– Нет, лучше буду вдовою. Не найти такого. Духу нет.

Каждое воскресенье на базаре, где Физа Антоновна торговала варенцом, околачивался горластый похожий на цыгана мужик, скупал старые патефоны и пластинки, подновлял, клеил, заменял головки и диски и выносил на толкучку снова, привлекая внимание пением Руслановой и Ляли Чёрной. Женя привязался к нему, бегал от молочного прилавка слушать «Валенки» и «Синенький скромный платочек», желая взять этого дяденьку в папки не за то, что он смугло-красивый и пробивной, а за патефон и пластинки, которые чудно и трогательно заполняют их комнату мелодией и русскими голосами.

– Пойдём за меня, – настаивал мужик.

– Погоди, ещё подумаю.

«Легла она спать, – рассказывали потом соседки, – и видит сон: входит почему-то к ней сам царь. «Здравствуйте», – поклонился. Она поднялась: «Здравствуйте, царь-батюшка». И опала

духом. «Знаешь что, женщина, – он ей, – слышал я, что ты одна, мужика убило, хочу я с тобой сойтись жить, со мной не пропадёшь». Она: «Господи, батюшка! А у меня ж ничего нету и, как видишь, положить тебя не на что». – «Я не брезгую тобой. Наживём. И у сына будет счастливое детство со мной». Он вобран в военном, и шпоры бряцают на нём, погоны огнём полыхают, а лица не разобрать. Она рассказывала, как сцепила руки: «Царь наш, я боюсь! Тебе надо миром управлять, до моей семьи у тебя руки не дойдут. Спасибо, что хоть вспомнил». И проснулась. Они и толкуют: «Раньше царя как увидят во сне, то обязательно беда будет. Не гонись замуж. Она и думает: «О, Боже, если я пойду за того, что патефонами торгует, – у него никакого родства никогда не было, ему не понять родного, весь мир ему как базар. Ладно. Промантужу с Женей, не умру. Перебьюсь одна, а там жизнь подскажет».

Вдовы же постепенно выходили замуж. Любовь для них прошла, погасли девичьи ночные чувства, песни пролетели, как птицы, и когда, подобно птицам, возвращались откуда-то из-за моря, находили женщин без прежних желаний и прикрас. Душа искала просто опоры. В том возрасте женщины уже представлялись мальчику пожилыми, и было непонятно, зачем им мужья. Тридцать, тридцать два года – какое время. А ему казалось: зачем приводить в свой двор чужого мужчину, вызывать пересуды соседей, зачем же матери заставляют какого-то дядьку называть «папкой» и зачем дети, поплакав и постыдившись, называют их так? Женя помнит своих одногодков по улице. Как страдали они и ревновали матерей к «папкам», когда вечерами они ложились с ними спать на одной койке, как боялись признаться товарищам, что в семье их прибавился братик, сестричка!

